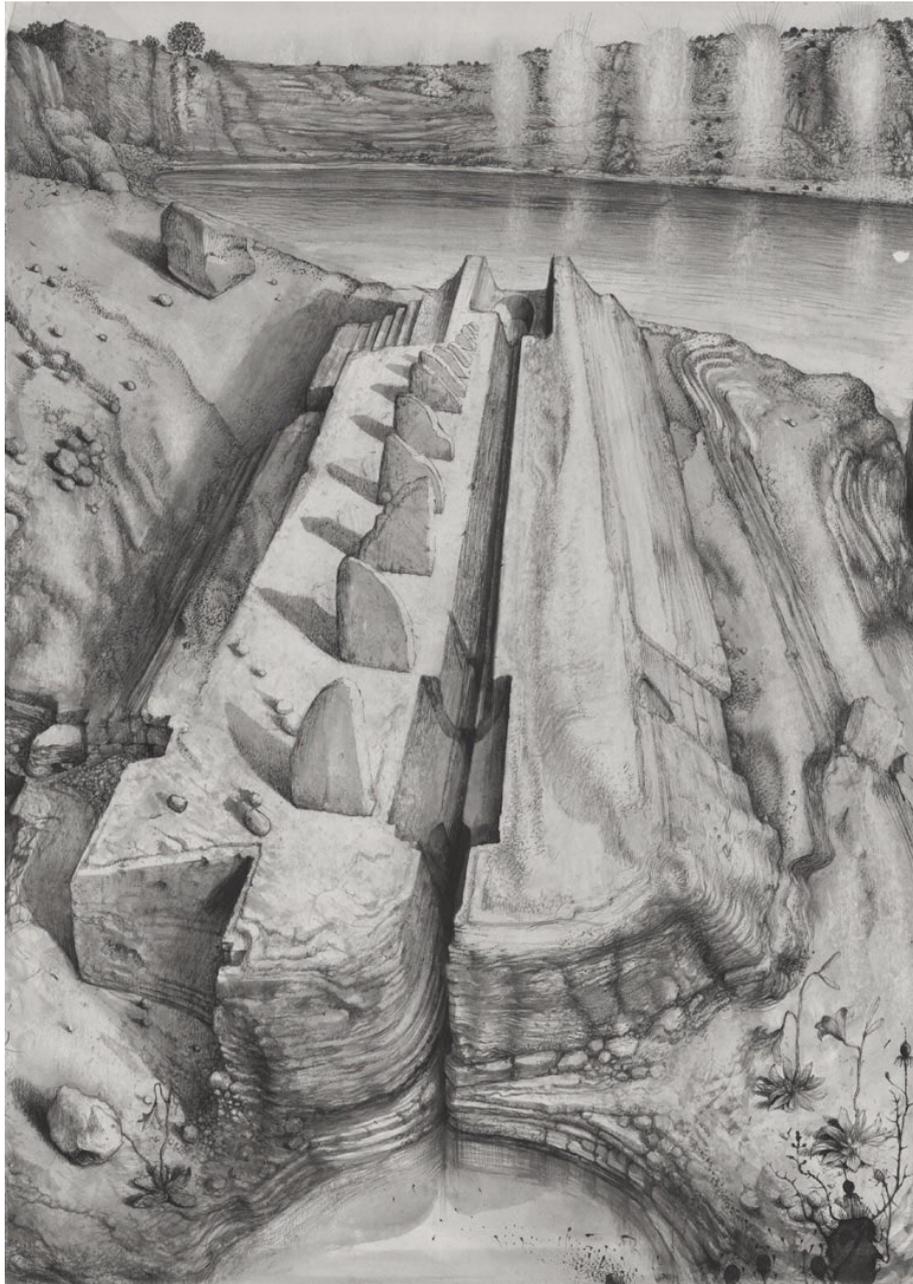


Ипполит Харламов

ГДЕ КАПИТЕЛИ В ЛИШАЙНИКАХ,

ГДЕ ВОДОКАЧКИ В ПЛЮЩАХ



Для начала

О чём бы я ни начал говорить, я говорю об истории, пространстве и времени, — упрямо, как Катон о Карфагене, но многословно. Когда меня захлестнули три эти неразделимые стихии — я не могу сказать, но знаю, где это случилось — вернее, случается и будет случаться, пока я существую.

Святые места моего века — там, где пахнет силикатной пылью, чернобыльником и мазутом, где суета стихает и города отодвигаются на дальний план.

Есть и другие — там, где ветки кустарников смыкаются прихотливыми сводами, крапива встаёт стеной, журчат золотисто-бурые ручейки и виднеется сквозь зелень кирпичная кладка. Где пахнет ряской, болотной осокой и алчными тропическими орхидеями.

И есть такие, где трухлявая древесина чернеет в сумеречной лиловизне, а вокруг плывёт сложноцветный запах берёзового листа, озёрной воды, сирени и долго не топившейся деревенской бани.

И тысячи других.

Все они — обнищавшие, пущенные по миру праправнуки храмов, у ступеней которых пахнет известняком, давным-давно испарившимися морями, небесными травами и подземным мёдом.

Водонапорная башня подпирает брюхо предгрозовой духоты, ящерка маскируется под резной изгиб мраморного аканта, расколотый эхин поддерживает, как может, оползающую шелушащуюся синь. Если перевернуть обломок железобетонной балки, на нём проступит рельеф с бычачьими головами, гирляндами и колосьями.

Маковым млечным соком меня опоили на царском пиру. Я отошёл в сторону и лёг наземь. У меня было тогда другое имя, киммерийское или хеттское. Мне привиделось, что из фаланг моих пальцев вырос рогоз, из моей бороды свились песчаные смерчи, из волосков на моих руках взошли ковыли. Потом какие-то люди расчленили меня, неподвижно лежащего, и принялись дубить мою кожу, перемалывать мои кости в муку, выпаривать из моей крови соли металлов. Когда я очнулся, ночное небо нависало и покачивалось надо мной, как кобылье вымя.

Миновали века.

Наконец, я родился в панельном доме номер четырнадцать.

Новый путь

На самом деле, я не запомнил, как назывался колхоз — Новый путь, Светлый путь или, может быть, Путь Революции, но слово “путь” в названии присутствовало точно. Написано оно было голубыми выцветшими буквами, пылью и пыльным небом. Я специально выходил из автобуса у этого поворота, хотя мог бы проехать ещё километров десять. Мне нужно было побыть одному в степи.

Я вытаскивал из заднего кармана сплюсненную пачку сигарет, и дым вился над моей рукой, как фимиам над рожком глиняной курильницы. Я ел грязную приторную шелковицу — её плоды всегда напоминали мне гусениц, но не тутового шелкопряда, а каких-то других, не встречающихся в здешних местах. Я смотрел на бесконечные пустые плантажи, бетонные сухолесья, и на неподвижные ветряки.

Я задавал вопросы.

Чем звенит земля? — Ведь это не легионы кузнечиков, не шорохи выгоревшей травы, не гудение крови в моих висках, но нечто иное, словно сестры и колокольцы звучат из каждой песчинки?

Как смешиваются стихии — как сходятся, как сочетаются, как брачуются, — в сизом воздухе, который только отчасти воздух, а отчасти огонь, и земная персть, и влага, настолько тонко просеянная, что её присутствия я почти не ощущаю, но ведь пот испаряется с моего лица точно так же, как брызги моря, гложущего обрывы в десяти километрах впереди?

Кого или что я помню в себе — и каким меня помнит пространство? Почему я так твёрдо уверен, что вовсе не ограничен признаками, которые приписало мне общество, почему в глазах своих двуногих собратьев мы блуждаем, как в королевстве кривых зеркал, а в неиссякающей перспективе дороги становимся настоящими и до боли живыми?

Камни среди полыни — или это обломки силикатного кирпича, — пока не подойдёшь поближе, не отличишь — отчего

они похожи на овечьи или человеческие черепа, на рассеянные по полю кости, и отчего это сходство не вызывает ни ужаса, ни тревоги, а только тёплую скорбь, корабельным парусом хлопающую на ветру?

Что значит купол — небес, кургана, холма, женской груди или воинского шлема? Что значит вертикаль — дерева, электроопоры, воткнутого в суглинок перочинного ножика, моего тела, когда я встаю во весь рост и его распрямляю? Что значит символ? Что значит образ?

Как называть этот мир? Как к нему обращаться по именам?

Мне давали ответы. Мой разум сразу же их забывал, а кровь — или костный мозг — или скользкие хрящи, придающие гибкость телесному каркасу — запоминали.

Простые слова я всё же затвердил навсегда: земля под ногами — широкая, всерождающая; солнце над головой — высочайшее, непобедимое.

Андрюхин штаб

В первый раз Андрюха оказался там на исходе мая. С Серёгой он в тот день разругался, Митьку не отпустили гулять, а Илонку брать с собой было просто самоубийством — потому он сел на велосипед и укатил в сторону залива один, но не по автомобильной дороге, а через лес, по грунтовке. По левую руку тянулось мелкое болотце, и деревья стояли по лодыжку в буроватой воде, а трава — по пояс. С правой стороны заросли скатывались в овраг, туманную зелёную пропасть, и на её краю цвели мелкие белые звёздочки.

К заливу нужно было ехать по прямой, но Андрюха зачем-то свернул на первую же широкую тропу — она уходила направо, огибая цветущий провал, — и мгновенно забыл об изначальной цели своего пути. Лесной сумрак подхватил его, окрылил, и одиночество стало захватывающим. Когда впереди в древесных просветах замелькало что-то кирпичное, рыже-багряное, Андрюхе и в голову не пришло, что это может быть чья-то собственность или даже военный объект: путешествие посулило открытие, и этим всё было сказано.

Заросли заметно редели и растительность изменилась — Андрюха понял, что лес тут не *растёт*, а *заращивает* человеческие следы. Следов, если приглядеться, было немало: сперва тропа пересекла проржавевшие рельсы, потом велосипед тряхнуло на булыжниках; впереди маячили серые деревянные остовы. Слева же высилась башня — суровая, без архитектурных излишеств, стройная, но с тяжеловесным шатром, напомнившим Андрюхе древнерусские крепости. Пристройка полностью обрушилась, и на кирпичной гряде успели вырасти довольно крепкие деревца. Подход к башне был виден вполне отчётливо, но зелень выглядела нетронутой: в последние пару-тройку недель здесь никто не ходил. Андрюха спешился и уложил велик в траву.

Наверное, любая архитектура — слепок какого-то слоя вселенной. Какого-то её плана, как сказали бы эзотерики. Но пока она нова и функционирует по назначению, об этом можно не помнить. Суэта отвлекает. Когда здание заустевает, уже ничто не скрывает его истинного содержания. Праобраза, лежавшего в его основе. И через этот праобраз можно заглянуть, как через чёрное оконце с осколками пыльного стекла, напрямую в своё подсознание — или даже в миры, которые там, в подсознании, отражены. Наверное, это и впрямь порталы, сквозь которые нельзя пройти физически, но можно просочиться мысленно — и, как в сказках и компьютерных играх, кто-то их охраняет, притворяясь колючками в человеческий рост, осиным гнездом, змейй — или обрезком чёрного шланга из ПВХ.

От двери не осталось даже щепок, и Андрюха неуверенно шагнул в чёрный проём — в прохладу, мусор и кирпичное крошево. Пространство напоминало дно колодца — но почему-то выкопанного вверх. Ни труб, ни проводов, ни таинственного оборудования, которое надеялся увидеть Андрюха, в башне не было и в помине. Лестница была срезана, только ржавые петли и какие-то железные огрызки торчали из стен. Потоптавшись по битому кирпичу, почитав матерные надписи, которые позволял прочесть фонарик дешёвенького мобильного, и посожалев о том, что наверх забраться не получится, Андрюха вышел наружу. Без сомнения, здесь было интереснее. Облик башни излучался мощью и памятью; её хотелось представить обвитой плющом, как древние колонны на картинах. В окошках её шатра мелькали тени средневековых лучников. Она звенела, гудела, росла, звала заглянуть вовнутрь — и Андрюха уже знал, что внутри ничего стоящего не было, но существовало ещё какое-то другое “внутри”, пока что недосыгаемое. Здесь царили запахи листвы и дождевых облаков. Ивы казались тучами с серебристым рыбим подбрюшьем, ольхи — тёмными молниями,

бьющими из-под земли. Пространство закручивалось вокруг башни медленным смерчем, рассыпало травянистые стрелы, в лягушачьем кваканье слышались заклинания, в комарином дребезжании — гипнотический струнный перебор. Воздух обёртывал Андрюху влажным и тёплым, метёлки травы обмахивали его; над ним колдовали тысячи рук, малюсеньких и великанских, и тысячи губ говорили с ним наперебой и взахлёб о вещах, без которых — как оказалось — Андрюхина жизнь была не вполне собой. А ещё с ним происходило то же самое, что бывало, когда он рассматривал наклейки с полуголыми девушками — но сейчас ощущения в его теле были сильнее и чище; они не зудели, а мерно пульсировали в такт с сердцем, и говорили не о чём-то взрослом, загадочном и в то же время донельзя идиотском, а о естественном, словно запах грозы, если тайном — то как сказочное сокровище, а не как постыдный грешок.

Ты прижимаешься к земле — и её младшие спутники, менады с сатирами, окружают тебя и пляшут, ударяя в тимпаны. Дымчатые платья и накидки из пёстрых шкур развеваются, обнажая груди и голени; ты не успеваешь их различить, никакое зрение за ними не попевает, а всё-таки плоть отзывается на их песни, и сознание тоже, а ещё — это любовь, я абсолютно уверен. Как человеческая, но сильнее. И всеохватнее. Демоны? Для кого-то — естественно. Даже электричество можно счесть демонической силой. Даже ветер. А уж любовь — как только её не демонизировали.

Пятачок перед входом в башню, зарастающий лебедой, Андрюха назначил своим штабом. Первым делом он натаскал из развалившейся пристройки кирпичей и сложил из них подобие завалинки — чтобы можно было сидеть, прислонившись спиной к плавно скругляющейся надёжной стене, и смотреть в хитросплетения древесных ходов и туннелей. Потом подумал и

соорудил таким же образом не то столик, не то алтарик — никаких военных карт раскладывать на нём он не собирался и никаких жертв приносить не хотел, но интуиция — или правила какой-то странной древней игры — подсказывала ему, что без такой конструкции гармония будет неполной.

Ни Серёге, ни Митьке, ни, тем более, Илонке он о своём штабе не рассказал. Бывать там слишком часто не получалось, но за пару недель в Андрюхином убежище появились свечи, несколько копеечных зажигалок, старое одеяло, полпачки “Петра Первого”, книжка Стивена Кинга и другая утварь сомнительной ценности, а сам Андрюха изучил и запомнил, как родинки у себя на руках, каждую щербинку кирпичной кладки, каждую муравьиную тропу, каждый белый плевок “кукушкиных слюнок” на черешках ивовых листьев.

Я не сойду, пожалуй, если скажу, что во всех, с кем жизнь сводит меня особо крепко, — прежде всего в товарищах, но и в возлюбленных тоже, — я ищу человека, которого мог бы привести в свой «штаб» — и пока не нашёл, но не потерял надежды. А «штаб» разросся настолько, что занимает добрую четверть мира.

В последнюю субботу июня Андрюха обнаружил на месте штаба уродливое кострище, полное обгоревшего мусора. Несколько деревьев было сломано под корень; ствол ещё одного висел на волокнах лыка. Пытаясь понять, нельзя ли как-нибудь приладить его на место, Андрюха вляпался в человеческий кал. Сандалию пришлось отмывать в ручье, яростно шаркая по песку.

Больше Андрюха туда не возвращался, и другого штаба в то лето у него не появилось. Водонапорная башня забыла его почти немедленно, а низкорослые ивы какое-то время тосковали о толстом мальчишке в футболке «Манчестер Юнайтед». Потосковали и перестали.

Вольноотпущенник

Иногда я жалею, что не могу придумать себе воображаемого друга: у меня на редкость плохо с фантазией. Я хорошо обрабатываю имеющиеся данные и совершенно не умею сочинять (или мне попросту неинтересно это делать); летописец из меня получился бы добросовестный, а вот сказочник не получился бы никогда. Тем не менее, если бы я решил обзавестись воображаемым другом, это был бы человек из прошлого, из времён Марциала и Силия Италика. Какой-нибудь второстепенный философ-вольноотпущенник, родом египтянин или сириец, от чьих произведений не сохранилось ни единой строчки. Я рассказывал бы ему о нашей эпохе — о *моей* — и задавал бы странные вопросы. Показывал бы пустынные подветренные святилища. Ходил бы с ним гулять по окраинам. Иными словами, делился бы тем, что сейчас делаю один — потому что пока не встретил современника, который нуждался бы в таких разговорах.

Я показал бы ему, например, удивительную точку, откуда кажется, будто проспект Энгельса уходит в бескрайнюю степь, подёрнутую знойным маревом — или в туманное северное море, если погода пасмурная. А потом повёл бы его посмотреть, что там находится на самом деле, куда несёт свои сухие воды этот асфальтовый жёлтый Нил — и мы вышли бы к ромашковым пустырям, как в моём детстве, к трамвайному кольцу, к трущобному городу автосервисов и гаражей, к тепломагистралям ТЭК: в пространство действительно бескрайнее, вполне оправдывающее своё предвосхищение, и если не полностью совпадающее с ним — то именно потому, что жизнь никогда ещё не подчинялась фантазии. Я рассказал бы ему, как в конце девяностых на трубах паропровода грелись полубеспризорные сопляки, именовавшие себя “неформалами” — в том числе и я, четырнадцатилетний; людям из приличного круга своих знакомых я не стал бы этого говорить, но ему сказал бы — как вольноотпущенник вольноотпущеннику. А потом добавил бы: я только сейчас начинаю понимать, как связаны два этих образа —

два слоя — два среза реальности: блаженное царство ромашковых пустошей под ветхими эстакадами, нагретыми июльским солнцем, и преисподнее царство январской ночи, где наши коченеющие пальцы передавали по кругу обслюнявленную сигарету и чекушку.

Это то, что будоражит умы десятилетних пацанов, что путано и неуклюже проговаривается в их легендах о пограничных пространствах, откуда уходят в странствия по мирам — и начинают обыкновенно с миров безрадостных, населённых чудовищами. Проясняют эти байки немного. Мистика в них есть, но нет теологии. Есть тусклое мерцание ночника, нет полуденного света. Но тем не менее: мальчишки и бездомные псы это хоть как-то чувствуют, а взрослые уже нет — если только в них не живёт душа мальчишки или бездомного пса.

*Way down yonder, down in the meadow
lies a poor little child
the bees and the flies are pickin' out his eyes,*

— или как там поётся.

Я рассказал бы, как однажды мы с товарищами пили всю ночь дешёвую бормотуху, оставаясь подозрительно трезвыми, а когда она закончилась, налили в кружки водопроводной воды, нарекли её вином — и от этого-то иллюзорного эликсира наконец опьянели. Эйфорически-пьяные — упоённые — мы пошли в лесопарк, над которым разливался рассветный туман, растворились в запахе хвои, взмыли в румяное зарево, нырнули в объятия городской захудалой чащи и мягко вывернулись из них, как из заставляющих застесняться объятий матери. Нас было трое — все тёмно-русые, примерно одного роста, даже с лица неуловимо друг на друга похожие. Старший погиб на одной из священных гор Юго-Восточной Азии, средний уехал в богатую западноевропейскую страну и ведёт бурную жизнь преуспевшего человека, а третий, младший, побывал в тридевятом царстве и вернулся домой.

В другой раз я пригласил бы своего несуществующего собеседника прогуляться со мной дворами — просто чтобы показать ему, как раскачивались на ветру черёмухи и воздух набрякал приближающимся дождём, когда двадцатисемилетний я шёл от метро домой — под шум черёмух вокруг и внутри себя я впервые почувствовал себя *возвращающимся*, задумался о мёбиусовых петлях пути — а потом о детстве, и захотел написать повесть о том, как необходимо и невозможно его вспоминать. Я многое мог бы ему рассказать о каждом закутке этих дворов; где-то я прогуливал уроки, где-то пил дешёвое пиво из полторашки и кого-то целовал мокрыми, размякшими от алкоголя губами, бесстыжей рукой шарил у кого-то под одеждой; отсюда расходятся тропинки моих энеид и одиссей — но в конце и в начале каждой истории, маленькой или большой, я всегда остаюсь один, наедине с материей и эпохой, прохожу знакомым маршрутом от метро к девятиэтажке, в которой родился, и вижу, как в первый раз, дома и деревья — освещённые смарагдовым летним пламенем или затушёванные влажными сумерками декабря. Они — не немые свидетели, они — соучастники, а если уж начистоту — то одна из главных причин всего, что происходит со мной (и с любым человеком).

Помнят эти дворы, эти черёмухи, и такие вещи, о которых я даже воображаемому другу не рассказал бы. По священной дороге с растрескавшимся асфальтом процессия движется в Элевсин.

*when you wake, you shall have cake
and all the pretty little horses*

Фаретра

В душный афинский поезд я сел в начале первого часа дня — вагон, как по заказу, оказался последним, хотя я на такое счастье и не рассчитывал. Едва проводник проверил билеты, я вышел в тамбур и стал смотреть, как за пыльными стёклами торцевой двери, выползая из-под колёс, растёт лениво-стремительная перспектива, жёлтая от щебня и солнца, голубая от воздуха, зелёная от листвы.

Отъезжая от городов, я с нежностью разглядываю всё, что обычно скрыто от праздных глаз глухими заборами, — депо, погрузочные площадки, подъёмники, тяговые подстанции, служебные здания — всю анатомию железнодорожного мира, которую только можно увидеть из окна поезда. Почти всегда её сопровождают дурновато пахнущие тенистые деревья — рябины в России, айланты в Средиземноморье, — и из-под их оперения проглядывают нечитаемые граффити.

Потом начинаются пригороды — и обязательно мелькнёт какая-нибудь платформа, ничем не примечательная, утопающая в растительном буйстве, от вида которой почему-то защемит сердце — и сразу отпустит, и прихлынет морское чувство простора, единства со всем и отрешённости ото всего.

Если летней ночью в пустой квартире распахнуть балконные двери и негромко включить радио, можно поймать любую волну планеты. Огромный динамик тверди за окном потрескивает и вздыхает помехами, ведущий ночного эфира ставит устаревшие хиты, позвоночник медленно распрямляется, как серебрящаяся в темноте живая антенна, тревожные иголки пробегают по рукам, а потом в тебя начинают вливаться, попеременно и разом, мерцание светофоров на магистрали, усталость таксиста в аэропорту, зябкий мандраж его пассажира, запах жасмина и жареной рыбы с берега Босфора, запах подгорающей выпечки с улиц Неаполя, кровянистые водоросли, орбитальная пыль, скошенные триммером одуванчики, хлопанье простыней на тёмных террасах — липкая бессонница на шершавой наволочке — прохлада умиротворённых щёк — крупинки мокрого пляжного

песка на локтях — одышливые хлопоты женщин в цветастых халатах — угольно-чёрный поздний хмель одиноких мужчин — гудки поездов на перегонах — бдение служащего в станционном домике, занавешенном сумерками и сиренью.

Я вернулся в вагон и сел на своё место. Сидевший напротив немолодой дядька сразу же, не здороваясь, завёл разговор — он бывший моряк торгового флота, с шестнадцати лет на кораблях, был женат, но жена ушла и забрала с собой дочь, теперь то ли родственники, то ли свойственники хотят у него отсудить не то дом, не то участок, — нескончаемый монолог, прерываемый кашлем и бранью, я слушал вполуха, но внимательно следил за интонациями, как за мелодической линией симфонии.

Громче всего в железнодорожных симфониях звучит партия пустот — гудящих, звенящих, перекатывающих. Немного тише — партия меланхолии (складывающейся из горечи, ностальгии и чего-то ещё, похожего на осознание смертности). А потом вступает человеческий голос, как если бы кто-то пел себе под нос: *кто провожал меня — вас не касается*, — и хорошо, если он немного фальшивит, едва заметно, самую малость.

Мы приближались к Фивам, когда моряк предложил сходить покурить. Я немедленно поднялся с сиденья, благо и сам изнывал от никотинового голода. Мы раскорячились между вагонами, стараясь как можно лучше загородить дверные стёкла и, насколько это было возможно, держать сами двери. Штраф меня не пугал — и не потому, что у меня имелись лишние деньги. Я был более чем уверен, что, имея за плечами богатейший опыт переговоров с проводниками всех мастей, как-нибудь выкручусь и на этот раз. Но правила игры требовали какой-никакой, а скромности.

Лицо у моряка было почти славянское, округлое и рыжеусое, — из тех, что заставляют вспомнить одновременно моржа, бобра и кота. Перекрикивая лязг, он продолжал рассказывать о своих корабельных и сухопутных невзгодах — и нечаянно обронил какую-то важную фразу, но я её не запомнил. Я понял только, что он, сам не зная того, был братом лейтенанта пограничных войск, с которым я однажды выпил не меньше десятка бутылок

“Сибирской короны” на Ленинградском вокзале — и пил бы дальше, если бы не объявили посадку на мой поезд.

На перепутьях нам являются высшие силы — чаще всего в человеческом облике, и всегда так, чтобы никто ничего не заподозрил — ни мы сами, ни наши собеседники, чьи тела и судьбы на каких-нибудь полчаса стали знаменами.

Моряк сошёл в Ливадье. Его место заняла маленькая сухая бабулька, похожая на диковинное насекомое. Поезд буравил горный ландшафт, углубляясь в страну, в её внутреннюю дикую часть. Я прикрыл глаза, надеясь заснуть, но ничего не получилось. Горы протискивали в вагонные окна свои громадные старческие тела, обнажали сланцевые груди. Колёса вихляющего состава гремели так, будто я оказался под артиллерийским обстрелом. Нечто похожее я уже испытывал — однажды ночью, в южно-уральской степи, когда у меня в голове полыхали пронесившиеся мимо факела нефтяных вышек. Могущество рассекаемых рельсами пространств изнуряло меня. Я маялся, как в лихорадке, — маялся настолько, что даже безрадостная причина моей поездки начала забываться, — но принимал маету с воинственным смирением, понимая, что она непременно должна разрешиться чем-то важным. Пару раз я вставал, шёл в туалет, невольно задерживая взгляд на ржавом титане — почти таком же, как в старых советских поездах, — ополаскивал лицо, возвращался, открывал книгу и сразу же понимал, что не имею права читать, пока вокруг дыбится и скрежещет настоящий, нерукописный мир.

На станции Палеофарсалос я вышел покурить по-человечески, без аккомпанемента гроыхающего железа. Здесь сошли многие, но перрон казался совершенно пустым, словно все они были миражами, готовыми раствориться в вечерней дымке над фессалийской равниной — девушка в мини, модельную внешность которой не то портил, не то дополнял гигантский яркосалатовый чемодан на колёсиках, дама с персидским котом, парень с уставной армейской сумкой, целая дивизия старушек в чёрных платках и старичков в кепках-аэродромах.

Пустошь обволокла меня, как тёплая стоячая вода. Гудение раскалённого асфальта сливалось с жужжанием проводов. Издалека, с немым гиканьем на губах, надвигались гряды фиолетовых туч. Полынь выпрастывала из земли сизые плети, и вместе с ней подымались из беспокойных могил знахарки с пчелиными гнёздами в тысячелетних глазницах. У каждой за спиной тянулся бесконечный шлейф из распалённых пунцовых олеандров и диких “собачьих” роз. Сердце материка бухало, как бешеный молот, прямо под моими ногами.

У таких платформ я непременно ставил бы гермы — впрочем, они и так там есть, замаскированные под белёные яблоневые стволы и бетонные опоры.

Состав уже трогался. Я затоптал окурок и прыгнул в вагон.

Я уезжал от потерянной любви, которую сам же разрушил — в то мгновение, когда её принял; от предательства, которому был подельником и соавтором; от драгоценных рук, превратившихся в двух удавов; от юности. Ехал за гневной отрешённостью Ахилла, лишившегося своей Гипподамии, за упоительным одиночеством, с которым ещё не примирился, но которое уже предвкушал.

Поезд пронёс меня между Симплегад.

Вскоре потянулись цыганские предместья города, в который я ехал.

Уже на вокзале, купив табака и стакан крепкого фраппе, я вдруг ухмыльнулся — и на долю секунды едва ли не испугался собственного цинизма. Я не удивлюсь, подумал я, если вся эта любовь, всё беспредельное унижение, весь мой позор были только затем, чтобы я заглянул на секунду в глиняно-смоляные глазницы Фессалии, на пустой платформе, в Фарсале, — и если так, то мои жертвы того стоили.

Я, кочевник, собираю колчан железнодорожных стрел, — солнечных лучин, пропитанных креозотом.

Заря

Тот край земли, который мне довелось увидеть собственными глазами, был оторочен пучками травы и апрельскими маками.

Маки танцевали на ветру отчаянно и обречённо. В их чёрных сердцевинах, похожих на траурных бабочек, пульсировала чума. Лихорадка забытья разгоралась на их лепестках.

За этим краем, за линией макового огня, земля заканчивалась. Начиналось что-то другое, и я не знаю, как оно называется.

В переводе на русский деревня называлась Заря. Буроугольные разработки сожрали её в три присеста: сначала лишили крестьян родных угодий, потом выселили их, потом проглотили руины. За несколько лет до моего приезда пустые дома стояли нетронутыми — светлыми, как новорождённые Помпеи, завёрнутыми в кружевные пелёнки из соцветий сныти и дудника. Я застал в относительной сохранности лишь церковь и пару сооружений по соседству. Всё прочее уже было превращено в подобие марсианской пустыни: в коричневую с розоватым отливом ступенчатую впадину, яму, простиравшуюся насколько хватало зрения. Жизни в ней не наблюдалось, только медленное копошение техники и свинцовые отблески от озёрец мёртвой воды.

Я зашёл в церковный сад, поднялся по растрескавшимся ступеням, побродил по центральному нефу. Обогнул здание с заколоченными высокими окнами: школу, быть может, или сельскую администрацию. Пересёк культу заросшего проулка, прошёл насквозь через магазин с обрушившейся задней стеной — и почувствовал себя фантомом.

Из фантомного мира хлынули звуки и запахи. Запах жареных каштанов зимой, запах тканых шерстяных одеял, свежееотжатого масла, овечьего хлева и уксуса. Мне не нужно было прилагать усилие, чтобы понять, как был устроен здешний уклад, — я хорошо его знал по другим западномакедонским деревням, — но что он явится мне настолько ярко, как будто вспомнится, — этого я совсем не ждал.

Парнишку звали, должно быть, Костас — а как ещё? С девчонкой могут быть варианты. Допустим, её называли Хриса — в честь бабки по отцу, или Янна — в честь бабки по матери. Они воровали арбузы, разбивали их об асфальт, выедали сладкую сердцевину, а остальное бросали в канаву. Прохожие бранили их поросятами. Когда Костас отнёс пацанам почти литр молодого вина, а то, что осталось в пластиковой канистре, разбавил компотом, — чтобы дед не заметил пропажу, — Янна или Хриса не настучала, хотя могла бы. В кустах за церковным забором они ходили в туалет и по-честному не подглядывали друг за другом. Хриса — или Янна — обзывалась так изошрённо, что пожилые дядьки в кофейне восхищённо цокали языком. Костас кидался в неё сколопендрами. Теперь они живут на окраинах двух разных, но всё-таки одинаковых городов; Костас стал Константиносом и водит помятую «Тойоту», Хриса-Янна родила троих и состарилась в сорок. Тени их детства застыли на центральной улице деревни Заря, как тени жителей Хиросимы. Скоро и их уничтожат.

Все нимфы и фавны, жившие здесь, дриады и nereиды, домовые и колодезные духи, — куда они делись? Как умирают те, которые не смертны, как мы, но и не бессмертны в великом, олимпийском смысле этого слова? Хочется верить, что легко, не чувствуя ни страха, ни боли, прозрачным радостным караваном взмывая в вечернее небо, — но что-то подсказывает: не так. Так, как Марсий.

Я всё ходил и ходил по краю перекопанной пустоши, спиной чувствуя тёплое сопение развалин. Грузовики шли внизу вереницами, но звук двигателей до меня не доносился, — возможно, ветер дул в другую сторону, а может быть, глухая невидимая стена отделяла их мир от моего.

Марево, жёлто-розовое и слабо мерцающее, застилало равнину до горизонта, до силуэтов гор — как будто на самом деле занималась заря. Какая-то инопланетная, непостижимая заря будущей эры.

Палисадник Забеллы

Дом бабки Забеллы хорошо виден с автомобильного моста над железнодорожными путями: известковый обшарпанный кубик с лилипутской верандой, тесным задним двором и палисадником, из которого в любое время года рвутся наружу неистовые, безумные цветы. Если зайти под мост и попробовать разыскать его, придётся петлять по задворкам нежилых строений, обходить кучи битого кирпича, огибать полуразвалившиеся заборы. Впрочем, почти никому не приходит в голову искать дом бабки Забеллы, а тех, кому нужно там побывать, приводят за руку чертополох и пыльный вечерний ветер.

Относительной новизной во владениях бабки Забеллы может похвастаться только железная калитка, выкрашенная бледно-зелёной эмалью. Всё прочее не менялось уже лет девяносто — наверное, как и сама бабка Забелла. Ржавь и грязь предместий сгущаются вокруг её дома — и обрываются; палисадник со своей полуцерковной, полукладбищенской оградкой выныривает из бурьяна, как дремучий остров с девственным лесом, с пантерами и анакондами.

Кисти рук у бабки Забеллы масляные, лицо — кипарисовое. Глаза, как у дряхлого коршуна, бесстрастные и всевидящие. Выговор поначалу кажется фессалийским, но если прислушаться — нет, скорее эфирским. Можно предложить ей помощь, но жалеть её нельзя; смотреть на неё всеу страшновато, но можно всматриваться в её облик, как в очертания скалы или в цветущую древесную бездну. Из живности бабка Забелла держит курей и широколаплого, большеголового пастушьего пса, почти такого же древнего, как она сама, но ещё могучего. На цепи он отродясь не сидел, но в закатном свете легко представить у него на шее густую гирлянду из плюща, левкоев и ещё каких-нибудь ароматных и священных растений — единственный ошейник, который был бы ему под стать.

Разумеется, выселить бабку пытались не раз, но клочок глинистого грунта, как нередко бывает в здешних краях, обладал настолько запутанным юридическим статусом, что даже меч Александра увяз бы в этом Гордиевом узле и превратился бы во второй Эскалибур. Разыскивать наследников полумифических дольщиков, чьи следы терялись в Америке и Германии, никто не решился. Долго ли, коротко ли, домик со своим нехитрым окружением оказался зажатым между железнодорожным полотном, давно разорившимся шиномонтажем и мастерской, производящей аляповатые керамические изделия — косолапых львов и подобия кариатид со смазанными плоскими лицами.

В ясные стылые дни, иссечённые вдоль и поперёк зубилом горного ветра, бабка Забелла топит печь и стряпает липкие, как лёсс, пироги с рассольным сыром и дикой травой — то ли поминальные, то ли свадебные. Когда жара заливает город расплавленными воском и медью, на задний двор сползаются ужи и узорчатые песчаные гадюки — говорят, что бабка окатывает их из ведра и поит из блюда. Когда заряжает затяжной ливень и фонари превращаются в керосиновые лампы, подвешенные в отсыревших каютах, к ограде бабкиного дома по двое, по трое сходятся утопленники-матросы. Одни подволакивают ноги, оставляя длинные следы из гниющих водорослей, другие едва касаются земли, почти парящие — или плывущие — в прерывистых потоках дождя. Облокотившись на ограду, они курят, отхлёбывают из фляжек забористое пойло, рассказывают что-то чёрное и слизистое, как прибрежные воды Термаического залива, не торопятся уходить на рассвете — и не то шум первых автобусов на эстакаде вынуждает их сгинуть, не то сама бабка Забелла прогоняет их кочергой.

Весной в палисаднике всходят призрачные нарциссы, и иудино дерево, растущее у калитки, подёргивается пурпурным туманом. Тревога клубится над пробуждающейся землёй, отчаяние — и тоскливый уют, похожий на тюль в низких окнах бабкиного домишки, в квадратных выемках с облупившимися рамами. Сквозь тюль можно различить тканый ковёр на стене, топчан с пирамидкой подушек, пузатую вазу на тумбочке, — но

все они двоятся в глазах, расплываются, а сквозь них проступают тяжкие ветви белой сирени, ветви яблонь в бесчисленных девчачьих бантиках, ветви персика, ветви магнолии, плети бегоний с неуёмными рыжими костерками, огромные губастые розы, лиловые и жёлтые светильники мальв — цветение вываливается из окошек, взмётывается пенящимся валом, разбухает, заполняет весь мир, и в его благоухающем водовороте кружатся, как такелаж разбитого корабля, приметы эпохи и предметы домашней утвари.

Кто-то видел однажды, — не исключено, что во сне, — как бабка Забелла обнаружила в кустах выводок месячных котят, чихающих и сопливых, с гноящимися от инфекций глазами. Она ловила их по одному, поднимала к своему лицу, хватко смыкая жёлтые пальцы на тщедушных шейках, — а потом проворно, змеиными движениями языка, слизывала гной со страдальческих угловатых мордочек и сплёвывала в лопухи. И впрямь: в округе не переводятся поджарые и вечно голодные, но крепкие, как на подбор, ясноглазые коты.

Так было лет десять назад. Умерла ли бабка Забелла, жива ли ещё, перешла ли в какое-то неизвестное науке состояние — непонятно. Густой тёмно-рыжий мёд вспучил землю, хлынул из трещин и затопил её крохотное имение, забальзамировал; время замерло в светящейся толще, как в янтаре.

С автомобильного моста хорошо видно, как среди бронзоватой зелени палисадника пылают астры и георгины, красные косматые солнышки.

Τὰς λεωφόρους μὴ βαδίσεις

По торным дорогам в сумерках не ходи.

Тайны любят одиночество — и только одиноким даются, выбирающим те пути, где цветущие ветви клонятся до земли, сплошными тучами идут деревья и воздух заткан птичьим пением плотно-плотно, как натянутой звонкой пряжей.

Маленькие лешие выглядывают из-за кустов рябины, и в пруду с крапчатой чёрной водой чья-то печальная рука пускает кораблики из кувшинок.

Чистейшие силы земли тёмный век оклеветал и назвал «нечистыми» — а всё равно без них никуда; человеческий разум ветрен, но сердце памятно.

В колодец после вечерней зари не заглядывай.

Мимо рассохшихся сараев иди благочестиво, благоговейно.

Ни мотылька, залетевшего на веранду, ни жабы, замершей посреди дороги, не обижай.

Бессмертника зря не топчи.

Бесчисленны заповеди, но нехитры.

За этими заповедями я сюда и приехал. Ещё лет тридцать назад тут был военный городок, а до того — эврейская хмурая деревушка. Ближний лес исполосован просеками, одомашнен, как гигантский парк — только белых скамеек с чугунными лошадками-боковинами не хватает, — но травы вымахивают в мае дремучие, готовые заарканить своими растрёпанными косами, и у озёрной воды карие, лосиные или медвежьи глаза, а у морской — в заливе — глаза цвета воздуха, финские.

В сумерках туман укрывает ватным одеялом опустевшие ангары и казарменные корпуса, стирает следы недавней истории — и над разбитой бетонкой порхают крохотные огоньки, едва различимые. Неслышная дудка затягивает напев, блуждает где-то за пижмой, за медуницей, за иван-да-марьей. Идти по траве в этот

час — словно снится земле и себе самому в самом сладком из снов, не подлежащем никаким толкованиям.

Потом разливается рассвет по озеру и по небу, и опять туман — но уже другой, румяный по-девичьи и парной — стелется над руинами, над руинами. Почему священна руина? Чей она образ? Знамение чего?

Той части бессмертия, может быть, неполной и горькой, которая видима смертным глазам. Или части посмертия — такой же неполной, различимой отсюда. Или чего-то ещё, что известно только создателям.

Но самые ясные мысли, самая высокая боль, самое неистовое вдохновение рождаются возле руин. И самые синие из васильков, и самые виртуозные из кузнечиков.

Теменос

Сначала я ехал, потом поднимался в гору, потом долго петлял по белым известняковым вымосткам, не прикрывая головы от жгучего солнца. Наконец, подошёл к храму и забыл обо всём, что хотел увидеть, подумать или понять.

Я постоял немного и сел в траву. Положил правую руку на лежавшую тут же коринфскую капитель — не от храма, от какого-то другого сооружения. Она казалась покрытой тончайшим серебристым лишайником или высохшей морской пеной. Я стал неотделимым от мира.

Пространство, живая плоть, всеобщая и моя, я расплёскан по твоей необъятности точно так же, как ты во мне свёрнуто, сжатое в миниатюру, сведённое к пунктирам из крохотных точек, мерцающих кровавых огоньков, — и мы связаны накрепко, как два близнеца, исполинский и микроскопический. Когда в другой твоей галактике вспыхивает звезда, я моргаю.

Время, змей-река, голубоватый космический водоворот, дракон, глотающий бесконечность. У него тепло и страшно внутри, и ещё теплее, ещё страшнее от того, что кто-то побеждает его, ежесекундно, пронзая молнией или копьём, а если смотреть отсюда, где лишайники и плющи на обломках камня, — то стеблем вездесущего сорняка, наподобие очеретника или мятлика.